

ПСКОВ В ВОСПРИЯТИИ ПИСАТЕЛЕЙ-ЭМИГРАНТОВ

В статье рассматривается Псков как «предмет» осмысления в творчестве Л. Зурова, С. Чернога, Ю. Иваска и других представителей русского зарубежья первой волны. Исследование показывает, что покинувшими Россию писателями Псков мыслился идиллическим, патриархальным топосом, сохраняющим верность древним традициям.

Наибольшее распространение в эмигрантской среде получил образ православного, «христоролюбивого града», в котором нетленное предпочтительнее дольних радостей.

Ключевые слова: эмиграция, идиллия, память, православная святыня, контраст быта и бытия.

A. G. Razumovskaya

PSKOV IN PERCEPTION OF EMIGRE WRITERS

In the article Pskov is viewed as an «object» of comprehension in the works of L. Zurov, S. Chernyi, Yu. Ivask and other representatives of the first wave of Russians abroad. The research proves that the writers who had left Pskov thought it as idyllic, patriarchal topos that is true to its ancient traditions. Most common among expatriates was the image of the Orthodox, Christ loving town where the choice was made in favour of the heavenly.

Key words: emigration, idyll, memory, Orthodox sacred object, a contrast of way of life and existence.

Феномен Пскова нашел многочисленные отражения в русской словесности, причем в разные времена в его семантической оболочке преобладали различные коннотации: Ольгин град, Дом Святой Троицы, провинциальный город, город воинской славы. В эмигрантской среде широко распространено осмысление города как границы славянства, олицетворения древней русской земли. Так, например, И. Шмелев в 1936 году посетил Старый Изборск (входивший тогда в состав Эстонии), чтобы от границы увидеть псковский Троицкий собор. С высоты Жеравьей горы разглядывал город в бинокль И. Лукаш: *«Наивная монастырская гравюра, где в небе, над обителью, парит маленькая белая церковка, которую несут на облаках ангелы... Таким я вижу Псков.*

Парит, белый, мягкий и дальний. <...>

Не жажда ли встречи, белый Псков, точно ветер, глухой и горячий, пригнала меня сюда, на кражистые варяжские взгорья... Сухая буря гонит вихри русских листьев, изодранных, обугленных на русских морозах, покоробленных на русском огне, — сухая буря гонит нас, русское перекасти-поле...

<...>

Когда заря скоро идет там косыми, румяными крыльями по улицам, окатывает окна и крыши, ало дрожит на стеклах фонаря, когда летят туда крылатые синие тени, от Изборска, от древних славянских городищ, может быть, к тебе, Псков, на русскую землю, долетит с зарей и моя тень, и дыхание, и стук сердца...

Парит белая Троица <...>.

Парит в небе белый Псков, Россия небесная, Россия непогасимая...» [1]. В глазах утрачивших родину людей Псков был символом самой России, невозвратной и прекрасной.

Но особое место в статусе литературного «предмета» Псков занимает в творчестве тех писателей-эмигрантов, кто был связан с ним лично, биографически. В первую очередь — в

творчестве Л. Ф. Зурова, островича по рождению, детству и ранней юности. Позднее, в период эмиграции, Зуров не раз бывал в Печорском крае, изучая историю и культуру родной земли в качестве реставратора, археолога, этнографа. Неслучайно богатые исторические знания и непосредственные псковские впечатления неизменно отражались в его публицистической и художественной прозе.

В рижский период Зуров нередко заявлял о себе в печати заметками о Печорском крае и о Пскове, который он называл «*цитом Руси*». «*Дом Святой Троицы — сердце Пскова. Славные боевые дни — жемчуг ее риз*» [2, с. 4]. Вспоминая героические страницы древнего Пскова, начинающий писатель, тем не менее, подчеркивал не воинственный, а мирный характер псковичей: «*Не кичливыми днями раздоров и междоусобиц он славен, а стройкой, хранением древляго православия, обороной от лихих людей, славен воинским подвигом за Дом Святыя Троицы, за святыя церкви, за свое отечество*». «*Не было в Пскове желанья войны, ради войны, псковичи улюбили в мире со всеми жить добре. В договорах были искренни, чистосердечны и просты, сказывали правду*».

И славна всегда была в Пскове крепкая любовь к своему родному, политому кровью краю. Любовь возвела без усилий чудный град, окруженный стенами, довершенный Детинцем и увенчанный златыми соборными куполами» [2, с. 4]. В восприятии Зурова Псков выступал олицетворением воинской чести, но и святыней православия:

«Теперь, очутившись на чужбине, мы вспомнили нашего старика и пожалели, что не сумели хранить его честные старые заветы, отдав врагу на разграбление Дом Святыя Троицы.

Но не забыть нам слов, выкованных на мече св.кн. Гавриила, что висит в соборе над гробницей: «Чести своей никому не отдам».

Как же тебя не любить, любезный, далекий Псков?..» [2, с. 4].

В повести «Отчина» (1928), посвященной историческому прошлому Псково-Печерского монастыря, образ древнего Пскова при всей конкретности приобретает уже метафизические черты. Он поражает «*чарующей и угрюмой красотой многих отраженных водой башен*» [3, с. 62] и в то же время словно парит в небе: «*Восковыми кругами лежали вокруг города березовые рощи, а у слияния двух по-осеннему посиневших рек, под безоблачным небом, подняв из-за стен кованое кружево куполов, царствовал вознесенный на утес белый, как холодные московские снега, собор*» [3, с. 63].

В повести, над которой Зуров работал последние пятнадцать лет своей жизни, — «Иванда-марья» — Псков не назван, но опознается благодаря прозрачности топографических реалий: «*раскинувшийся при слиянии двух рек город*», «*вознесенный на высоком мысу, над рассыпавшимися местами серыми крепостными стенами белый собор*», «*возвышающийся над городом с серыми каменными башнями Детинец*». Называются «*Покровская башня, от Батория пролом*», Мирожский монастырь, Соборная горка и другие псковские топонимы. В книге сказывается как хорошее знание автором топографии города, так и его истории: «*А город наш раскинулся при соединении рек и в языческие времена был священным, потому что здесь была дубовая священная роща, а наша река была одним из малых водных янтарных путей из варяг в греки. В глубокой древности город был вольный, и арабские купцы здесь лен, и меха, и воск покупали, и мы не только диргамы серебряные находили в земле, когда во время половодья вода берега подмывала, но и англо-саксонские денежки. Сюда приходили чужие ладьи из чужих морских городов, а по реке нашей когда-то поднимались в Ганзейский союз*» [4, с. 69].

И все же, отмечая конкретные реалии города, вспоминая его роль как одного из центров древней торговли, Л. Зуров не забывает представить его как священный град: «*герб нашего города — бегущий золотой барс — был в числе гербов ганзейского союза: золотой пятнистый пардус бежит, из облака раскрывается золотая рука, сея золотые лучи, потому что в летописях сказано, что в те времена, когда Киев не был крещен, Ольга с того берега увидела на холме со священным дубом падающие с небес три солнечных луча, и вот куда лучи упали, там был построен собор Святой Троицы, и с тех пор Троицкими стали и все наши воды*»

[4, с. 69]. Упомянутым небесной покровительницей города — святой Ольги Российской — автор отсылает к летописной традиции осмысления Пскова как Ольгина города.

Атрибутами изображенного в повести города являются сакральность и древность. Потому городские строения здесь «посеребрянные временем» — «деревянные», «ветхие». И хотя автор повсеместно замечает следы разрушения города временем, видя «остатки крепостных стен, заросших крапивой, репейником, ромашкой и заваленных ссыпавшимся со стен щебнем», но обаяние его от этого не тускнеет, напротив, именно проступающая во всем глубокая старина более всего и дорога писателю. Также дорога она и народу, который в памяти своей бережно хранит «досельщину»: «Он рассказывал, что в верховьях у нас есть древние волоки и просеки, по которым в древности перетаскивала вольница лады, груженные товарами и кладью, в близкие реки, что здесь когда-то рубили лады, и, если подняться по большой реке, на которой отстроен город, то вот туда, — показал он, — уже на пароходе подойти нельзя...

— Там начинаются пороги, о которых никто не знает и на которых никто из горожан не побывал. Там-то, на порогах, единственный в обход города переход через нашу глубокую реку, и там было укрепленное место — Лабута. Там были поселены боевые дружинные люди для берега и охраны, занимавшиеся бортничеством, рыбной и звериной ловлей и пахотным делом. Там родилась Ольга, жена Игоря, родившая Святослава, что добыл свободный, уже утерянный в те времена новгородскими и киевскими славянами выход к теплым южным морям» [4, с. 96]. Так возникают переключки с русскими летописями, создается ассоциативная картина всей древней Руси.

Не случайно одной из доминантных точек при формировании образа города выступает река: «...весна была изумительная, и все, дрожа, переливалось в радостной голубизне, и наш раскинувшийся при слиянии двух рек город казался освобожденным. Был чист и ясен вознесенный на высоком мысу, над рассыпавшимися местами серыми крепостными стенами белый собор. Под ним искрилась река, а на рыбьем базаре бабы зачерпнутой из реки водой обмывали лотки. А весна сияла в необычной свежести, идущей от согревающих вод, в веселом водном раздолье радующихся слиянию рек» [4, с. 62]. Хотя в этом описании даны две реки, все же в дальнейшем будет изображаться главная, Великая. Этот единственный из всех топосов в повести, утративший свое географическое название, именуется «широкая река», «глубокая судоходная и сильная река», что подчеркивает ее величавость и величественность, сохраненные с незапамятных времен, не случайно она «блестела внизу, под обрывом, под осыпавшимися уже, сложенными из серого камня стенами» [4, с. 69], а возле Троицкого моста стояли «прибежавшие, как говорят у нас рыбаки, с Талабского озера и островов лады» [4, с. 87]. В ней как будто сосредоточена не только вся мощь края, но и его первозданность: «А вода двигалась и жила у моих ног, здесь внизу, как громадное и таинственное в ночи живое существо» [4, с. 78]. Она же символизирует сакрализацию городского пространства, ведь «Троицкими стали и все наши воды», то есть речные воды подчинены высшей воле и даруют городу долгожительство, а может, и вечность.

С другой стороны, вся жизнь города от мала до велика выстраивается вокруг реки: «прибежавшие из города купаться ребята раздевались, как обычно, не обращая внимания на баб, прополаскивающих вываренное с золою белье, плавали голопузые мальчишки...» [4, с. 89]. У Зурова сакральное и бытовое мирно, с привычной естественностью сосуществуют. С несмелым любованием писатель рисует жизненный уклад, сбереженный с давних времен жителями города, а сам топос интерпретируется как воплощение устойчивого незамысловатого порядка жизни: «Уже в полях настала тишина, песни уже замолкли, широкая река утекала. И вот тот вечерний свет зазулинских полей, и открытая даль, и заря с утекающей к морю рекой, как потом я на чужбине понял, и было все: века, века, печаль — вся история наша, и простота, и внутренняя непостижимая, светоносная глубина» [4, с. 77].

От города с его безмятежностью, спокойным, размеренным ритмом, с его садами и птичьим пением, у Зурова веет идиллией: «Живем у реки, за садом сад, по утрам, как в лесу,

птицы поют. Домов каменных мало, а зелени много» [4, с. 63]. В результате безмянность города, в котором воздух свеж от чистой листвы и разливается птичье пение, в повести выступает элементом не столько провинциальной, сколько *сказочной* условности. Город в повести «Иван-да-марья» вписан в картину патриархальной и счастливой жизни миролюбивого русского народа. Такой представлялась родная земля в эмиграции, издавека, когда все ушло безвозвратно: молодость, счастье, любовь. Земной рай, нарисованный Зуровым, напоминает сказочное пространство, прекрасный сон, мираж, утешающий человека в его скорбях: «*Это тепло, исходящее от земли, и дуновение ветерка, и солнце сильное, и золотистый цвет спелой ржи, и свет облаков — вот все, что и сейчас, как и течение наших рек, таинственно живет в моей благодарной памяти и крови, ибо и кровь мою воспитывала наша земля и речное течение. Вот за что всегда сердце мое благодарило родную землю в самые тяжелые дни»* [4, с. 98].

Другой представитель русской эмиграции — Саша Черный — был связан с Псковом волею исторических событий периода Первой Мировой войны и революций 1917 года: он служил здесь в полевом госпитале, располагавшемся в Поганкиных палатах, а затем в Управлении военных сообщений. В конце лета 1918 года, перед вступлением Красной Армии в город, покинул его вместе с другими беженцами.

Первое, что он отмечал в стихотворных текстах о Пскове, — это тоже река Великая, чья значимость подчеркнута в названии эмигрантской поэмы «Дом над Великой (Картины из русской жизни)» (1924). С. Черный отмечал широту и величественность речной панорамы:

*На глади Великой смеиной пароходик чуть больше мизинца,
Белеет безмолвный собор-исполн [5, с. 21].*

*Над ширью величавых вод
Вдали встает копна собора.
Гудит далекий пароход... [5, с. 7].*

При этом Псков также лишен торжественности, одомашнен: не случайно архитектурная доминанта города — Троицкий собор — названа «*копной*», а купола храмов именуются «*тыквами*». Храмы и монастыри предстают игрушечными, маленькими, сонными: «*Вдали, весь беленький, у мыса / Молчит игрушка-монастырь*», «*Белеет за оградой сонно / Спасо-Мирожский монастырь*», «*Поганкины палаты / Белее изразца / На столбиках пузатых / Свисает свод крыльца*» («Псковитянка»). И хотя поэт замечает белый цвет городской архитектуры, Псков по преимуществу предстает у него ярким и пестрым:

*Синеют главы на лазури [5, с. 7].
Предо мной встал пестрый город за широкою рекой:
Разноцветные церквушки, пятна лавок и ларьков,
Лента стен, собор и барки... Ах, опять увижу Псков! [5, с. 28].*

Саше Черному город интересен не в надбытовом измерении (что обычно выделяют писатели-эмигранты), а своим повседневным обличем. И в этом будничном ракурсе города он находит немало поэтического:

*Как прохладно в гостиних рядах!
Пахнет нефтью, и кожей,
И сырою рогожей... («Гостиный двор», 1921)[5, с. 13].*

Автор передает особую обонятельную ауру торгового локуса, его характерные звуки («*На базаре плеск и гам*», скрип барок, гудки пароходов), использует колоритные детали:

*На Пскове, где рыбный ряд,
Барки грузные скрипят:
Здесь — сетки, там — груды клюквы,
Мачты — цвета свежей брюквы,
У руля тряпье шатра...
Зеленеет заводь речки,*

*А на мачтах флюгера, —
 Жестяные человечки, —
 Вправо-влево, с ветром в лад
 Сонно вьются и пищат.
 На мощеном берегу
 Бабы клонятся в дугу
 И серебряную рыбу
 Собирают молча в глыбу.
 Чешуя вокруг в вершок...
 Крепок рыбный запах!.. [5, с. 10].*

Живописная сочность образов при описании С. Черным рыбного базара корреспондирует с красочностью зарисовок Л. Зурова: «ловцы выливали рыбу, черпали деревянными ковшами ее из ладей, выливали лопатами в корыта — как живое серебро, — озерные щуки, колючие и зеленовато-радужные ерши, расписные, как чашки, окуни ...» [4, с. 69]. Причем, оба автора подчеркивают, что все свершается в этом городе согласно традиции, «по старине».

Как и Л. Зуров, С. Черный рисует дорогой сердцу город пребывающим в покое и безмятежности, уютная атмосфера которого создается обилием зелени: «...кленов опахала, / Дом в тишине, цветы, плоды...» [5, с. 82]. Причем, в саду у поэта («Дом над Великой») и у прозаика (сад в доме Косицких) лидирующее место занимают яблони, вызывая ассоциацию города с райским садом. Однако исконный и казавшийся таким прочным порядок жизни оказался безжалостно разрушенным Первой Мировой войной: в поэме С. Черного «белый дом» становится ковчегом, где находят временное прибежище родные и близкие, а в повести Зурова идиллия взрывается всеобщей и семейной бедой.

Псков был последним российским городом в жизни Саши Черного, и уже в эмиграции он осознавался как «светлый миф», «мираж», а то, что увидено в советском Пскове, пугало запустением и заброшенностью: «Молчаливый двор гостиный притаился, как сова», «На реке Пскове — устья», «Как небритый старый нищий, весь зарос навозом вал» [5, с. 29].

Захолустным Псков изображался и Ю. П. Иваском, познакомившимся с ним в пору высылки из Ревеля в Печоры в сер. 1930-х годов. В стихотворении под названием «Псков», вошедшем во вторую книгу стихов «Царская осень» (1953), переданы непосредственные впечатления поэта о городе — впечатления дряхлости, запущенности, царящего во всем разрушения:

*Пригородами — деревнями
 Ехали мы, и не раз.
 То деревянное — древнее,
 Древнее — но и сейчас...*

*Пригородами — заборами,
 Берегом узкой Псковы,
 Глазки Анютины, взорами
 Что докучаете вы?
 <...>
 Я задремал бы...расплывчатый
 Свиньи, ребята, сарай,
 Но отдаленный, заливатый
 Слышится, слышится лай.*

Все окрашено унылой, безрадостной нотой, беспросветной тоской: глухие улицы с заборами, узкая река, «лежалый навоз». Даже главная святыня города — Кремль — видится не в парадном величии, а в гнетущей обреченности:

*Вот и доехали: славою
 Дряхлый Детинец взнесен!*

*Вижу я — башнями, главами
Праздно красуется он.*

*Что мне величие давнее —
Колокол, гул вечервой?
Самое, самое главное —
День этот нынешний, мой.*

Финал стихотворения говорит, насколько поэту внутренне больно наблюдать безнадежность нынешнего существования города:

*Тянет обратно: унылые
Пригороды не забыть.
Самое, самое милое —
У подворотни завить. [6, с. 30–31]*

Образ Пскова характеризуется внутренним драматизмом, который порожден несоразмерностью «величия давнего» и гибельности города, его неизбежного разрушения в настоящем. И в других произведениях Иваска выявлена внутренняя контрастность Пскова.

Программным для понимания «псковской темы» в мировосприятии Иваска является его стихотворение «Сан Мигель де Альенде»:

*Открываю память-шкатулочку:
А не вспомнить, как называется!
Подымается в гору улочка
Мимо старой, забытой звонницы...*

Так начинается поэтический отклик на посещение мексиканского городка, однако образ «старой, забытой звонницы», почерпнутый из «шкатулочки»-памяти, — славянский, русский — преследовал поэта и в эмиграции. Потому давние впечатления, подернутые дымкой воспоминаний, вплетаются в мозаику ярких экзотических картин:

*Что-то псковское, мило-никчемное,
Незавидное, незабвенное...
Желтый домик с синей каемочкой
И зеленой дверцей —
забавники!
Дворик внутренний, скрытый — патио —
Раскрывает свои объятия.
Закругляются розы алые,
Плачут, мочатся дети малые.*

Умиление, теплоту, радость вызывает нарочитая игрушечность города, подчеркнутая уменьшительной лексикой: домик, дверца, дворик. Иваск строит текст на игре контрастами: дворик скрытый — раскрывает объятия, в нем кипит жизнь, прошлое соседствует с будущим (растут «дети малые»). Теми же чувствами полны воспоминания о милом и незабвенном Пскове. Эпитеты «незавидный», «никчемный» не столько снижают образ города, сколько подчеркивают в душе поэта сердечную привязанность к его камерной, непритязательной, естественной атмосфере. Два мира — видимый сейчас и хранимый памятью — сливаются в своей «бедной беспечности», «незатейливой пестрой экзотике». Лирический герой стихотворения открывает в них изначальную простоту бытия, благодаря которой красота и повседневность равны вечности:

*Я завидую бедной беспечности,
Незатейливой пестрой экзотике.
Запах розы, мочи и вечности,
Русь мешается в памяти с Мексикой. (февраль 1959) [7, с. 38].*

Иваск признавался в интервью Д. Глэду: «В городе Сан Мигель де Альенде я увидел полуоткрытую калитку и нерешительно вошел во внутренний дворик-патио. Поразили меня два

столь противоположных запаха. Одна ноздря уловила запах розы, а другая — детских пеленок. Какой контраст! И я понял, что давно уже воспринимаю все в противоположностях, и вот родилась моя мексиканская строчка-оксюморон: / «Запах розы, мочи и вечности...» Да, в этот момент я был вне времени, в какой-то вечности. Это был мой удивительный, ошеломляющий, экзистенциальный момент жизни» [8, с. 29–30]. Примечательно, что в этот момент прозрения поэт вспоминает Псков, в котором, по мысли автора, сошлась вся Русь — от земных бытовых явлений до целой «вечности».

Стихотворение «Новый Иерусалим» строится на контрасте картин: яркой и неприметной, южной и северной, причем с неизменным соучастием памяти:

*Пахнуло ли рыбами, розами:
Наверное Бриндизи, юг.
Весной — резедовыми грозями,
Зимой — мандаринами вдруг.*

*Мочеными льнами, осенними,
А издали будто бы: Псков.
Сухими листками, последними,
Завтра я знаю: Покров.*

Как видим, доминирует в каждой картине не визуальные, а обонятельные образы, характеризующие место. Итальянская картина ассоциируется с экзотическими ароматами, их аура позитивна. Русский пейзаж, напротив, возникает из запаха моченого льна, осенней гнили, но лирического героя она не отталкивает. Более того, его воображение рисует сверкающую самоцветами картину Нового Сиона:

*И сразу прослойками ясписа
Украсится Новый Сион.
Алмазами зауми-росписи
Засветится, радуя, он.*

*Они отзываются, вещи —
И пре-образуются Им.*

Используя в качестве эпиграфа слова: «...основание первое — яспис. (Откр., 21, 19)», автор отсылает к Священному Писанию, в котором сказано, что свет Нового Иерусалима является подобным свету драгоценнейшего камня, как бы камню яспису кристалловидному (XXI, 11). Стена его построена из ясписа (ст. 18) и первое основание оно было ясписом (ст. 19). И сей сидящий, говорится в означенной книге, видом был подобен камню яспису и сардису... (IV, 3). Пускай Новый Иерусалим, преображенный ясписом, и радует глаз, однако осанну Иваск поет не ему. Он прославляет тот Ие-русалим, который беднее, но чище — в духовном смысле:

*Иной, — о, не лучше, но чище —
Красуйся, Ие-русалим (апрель 1968) [9, с. 14].*

Графически поэт отделяет в слове часть «рус» дефисом, подчеркивая православную принадлежность Града небесного. В то же время автор снижает отвлеченность города-символа и придает ему образ близкого, дорогого, славянского Пскова. Он видится в канун церковного праздника Покрова («Завтра я знаю: Покров»), когда земля покрывается снегом и преображается, все сияет и блестит, переливаясь на солнце алмазными «росписями». Потому обновленный Псков представляется автору Новым Сионом. Этим утверждается связь города с Богом, что вписывается в традицию восприятия Пскова духовным, «богоспасаемым градом».

«Память-шкатулочка» берегла неизживаемые ценности — полученные на псковской земле впечатления: дали, голубизны и связанного с ними запаха гнили, контрастного тонким экзотическим ароматам. Рай Иваска непредставим без псковского крепкого «смрада», кото-

рый он вдыхал «*полной грудью — до печенки, до селезенки даже*». Его источник — резко и отвратительно пахнувший, а не красующийся голубизной лен, тем не менее, воспринимается как дар:

*Смрад едкий, прочищающий ноздри Духу —
Долгунца Псковщины — мочимого, мучимого льна.
Полной грудью и на последях из э!-ха, а!-ха
Вечный покой, вечную память осени — просини — на!*

(«На», осень 1968) [9, с. 19].

Эта «целебная вонь» не вызывает у автора отвращение, напротив, утверждается как самый дорогой запах для тоскующего по родине человека.

Итак, к образу Пскова писатели-эмигранты не уставали возвращаться своей памятью на протяжении долгих лет изгнания. Идиллический ореол города усиливался ностальгией по России. Саше Черному он представлялся «Русской Помпеей» (название раздела в книге «Жажда», 1925), олицетворением российской провинции с ее уютной домашностью. В сознании Ю. Иваска Псков стал духовной величиной, символом православной культуры, в которой нетленное предпочтительнее дольных радостей. Для многих эмигрантов бытийность Пскова возобладала над его бытом. Образ небесного Пскова, «*белого, словно отлетающего града*» [3, с. 20] дорог был и Л. Зурову, очарованному им в рассветный час: «*Заря румянила башни Детинца. Уронив искры от крестов в седую утреннюю воду, лебединым стадом выплывал из туманов Псков*» [3, с. 20].

Литература

1. Лукаш И. С. Псков в небе. Дорожные очерки «Изборск — варяжская земля» // Слово. 1926. 05.10. № 289.
2. Зуров Л. Ф. Младший брат Великого Новгорода — Псков // Слово. 1927. 22.05. № 512.
3. Зуров Л. Ф. Отчина. Повесть о древнем Пскове и Псково-Печерском монастыре // Зуров Л. Ф. Обитель. Повести. Рассказы. Очерки. Воспоминания. М., 1999.
4. Зуров Л. Ф. Иван-да-марья // Звезда. 2005. № 8.
5. Черный Саша. Ах, опять увижу Псков. Псков, 2003.
6. Иваск Ю. П. Царская осень. Вторая книга стихов. Париж, 1953.
7. Иваск Ю. П. Хвала. Вашингтон, 1967.
8. Глэд Дж. Юрий Иваск // Глэд Дж. Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье. М., 1991. С. 28–38.
9. Иваск Ю. П. Золушка. Нью-Йорк, 1970.